

1876

ЯНВАРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ О БОЛЬШОЙ
И МАЛОЙ МЕДВЕДИЦАХ,
О МОЛИТВЕ ВЕЛИКОГО ГЕТЕ
И ВООБЩЕ О ДУРНЫХ ПРИВЫЧКАХ

(...) Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ним, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лицу человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. (...)

II. БУДУЩИЙ РОМАН.
ОПЯТЬ «СЛУЧАЙНОЕ СЕМЕЙСТВО»

(...) Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных запи-

сок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широтостью, с которойю еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих,— все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на бога. Всё это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей. <...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

III. КОЛОНДИЯ МАЛОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ. МРАЧНЫЕ ОСОБЫ ЛЮДЕЙ. ПЕРЕДЕЛКА ПОРОЧНЫХ ДУШ В НЕПОРОЧНЫЕ. СРЕДСТВА К ТОМУ, ПРИЗНАННЫЕ НАИЛУЧШИМИ. МАЛЕНЬКИЕ И ДЕРЗКИЕ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

<...> Я видел их «библиотеку» — это шкап, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если бы и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если бы они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не цени, потому что все это

богатство им упало бы как с неба; они же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей — обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям «вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей. (...)»

«(...) Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно действовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души... (...)»

— «Герои,— вы, господа романисты, всё ищете героев,— сказал мне на днях один видавший виды человек,— и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер,— вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в неоходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика,— в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это «идеалист сороковых годов» и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за всё про всё грязью».

Я помешаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человечек пригодился бы,

может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей... <...>

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

IV. ОДНА ТУРЕЦКАЯ ПОСЛОВИЦА

Кстати и на всякий случай, вверну здесь одну турецкую пословицу (настоящую турецкую, не сочиненную):

«Если ты направился к цели и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели».

По возможности буду следовать в «Дневнике» моем этой премудрой пословице, хотя, впрочем, и не желал бы связывать себя заранее обещаниями.

ФЕВРАЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

II. О ЛЮБВИ К НАРОДУ. НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРАКТ С НАРОДОМ

<...> обращусь лучше к нашей литературе: все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас всё ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был бесприменчен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайно великолепием гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного,— все это оттого, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг об русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти

вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь нарова.

Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. <...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

II. НЕЧТО ОБ АДВОКАТАХ ВООБЩЕ. МОИ НАИВНЫЕ И НЕОБРАЗОВАННЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ НЕЧТО О ТАЛАНТАХ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ

<...> Что такое талант? Талант есть, во-первых, преполезная вещь. Литературный талант, например, есть способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно. Вы скажете, что прежде всего нужно направление и уже после талант. Пусть, согласен, я не о художественности собрался говорить, а лишь о некоторых свойствах таланта, говоря вообще. Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны и иногда просто несносны. Во-первых, talent oblige, «талант обязывает» — к чему, например? Иногда к самым дурным вещам. Представляется нерарешимый вопрос: талант ли обладает человеком или человек своим талантом? Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант порабощает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унизительном нередко виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. У Гоголя где-то (забыл где) один враль начал об чем-то рассказывать и, может быть, сказал бы правду, «но сами собою представились такие подробности» в рассказе, что уж никак нельзя было сказать правду. Это я, конечно, лишь для сравнения, хотя действительно есть таланты собственно вралей или вранья. Романист Теккерей, рисуя одного такого светского враля и забавника,

порядочного, впрочем, общества и шатавшегося по лордам, рассказывает, что он, уходя откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть приберегал самую лучшую выходку или остроту к концу. Знаете что: мне кажется, очень трудно оставаться и, так сказать, уберечь себя честным человеком, когда так заботишься приберечь самое меткое словцо к концу, чтобы оставить по себе взрыв смеха. Самая забота эта так мелочна, что под конец должна выгнать из человека все серьезное. И к тому же если меткое словцо к концу не припасено, то его надо ведь выдумать, а для красного словца

не пожалеешь матери и отца.

Скажут мне, что если такие требования, то и жить нельзя. Это правда. Но во всяком таланте, согласитесь сами, есть всегда эта некоторая почти неблагородная, излишняя « отзывчивость», которая всегда тянет увлечь самого трезвого человека в сторону,

Ревет ли зверь в лесу глухом...

или там что бы ни случилось, тотчас же и пошел, и пошел человек, взыграл, и размазался, и увлекся. Эту излишнюю « отзывчивость» Белинский, в одном разговоре со мной, сравнил, так сказать, «с блудодействием таланта» и презирал ее очень, подразумевая, конечно, в антитезе, некоторую крепость души, которая могла всегда совладать с отзывчивостью, даже и при самом крепком поэтическом настроении. Белинский говорил это про поэтов, но ведь и все почти таланты хоть капельку да поэты, даже столяры, если они талантливы. Поэзия есть, так сказать, внутренний огонь всякого таланта. А если уж столяр бывает поэтом, то наверно и адвокат, в случае если тоже талантлив. (...)

МАРТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. ВЕРНА ЛИ МЫСЛЬ, ЧТО «ПУСТЬ ЛУЧШЕ ИДЕАЛЫ БУДУТ ДУРНЫ, ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ХОРОША»?

(...) Есть у народа идеалы или совсем их нет — вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведется слишком уже давно и остановился на том, что одним эти идеалы выясни-

лись как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав — решим не мы, но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас «нечего охранять». В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье.

«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши». Эту фразу или эту мысль я никогда не выискивал. Единственно, чтоб оговориться в этом, я и отвечаю г-ну Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в народе — «есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают». Они есть, почтенный публицист, есть в самом деле, и блажен — кто может их разглядеть. Думаю, что у меня тут, то есть собственно в этих словах, нет ни малейшей неясности. К тому же неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противоположных причин... <...>

III. «ОБОСОБЛЕНИЕ»

<...> Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, то есть Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев и новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшивь положения и составляет все назидание. Во всем этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрапанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе обосабился и, разумеется, этим очень доволен. <...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ДОН КАРЛОС И СЭР УАТКИН. ОПЬЯТЬ ПРИЗНАКИ «НАЧАЛА КОНЦА»

(...) Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня, напротив: что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обычных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии. И какое преимущество над романом! Попробуйте, сочините в романе эпизод, хоть с присяжным поверенным Куперником¹, выдумайте его сами, и критик в следующее же воскресенье, в фельетоне, докажет вам ясно и непобедимо, что вы бредите и что в действительности этого никогда не бывает и, главное, никогда и не может случиться, потому-то и потому-то. Кончится тем, что вы сами со стыдом согласитесь. Но вот вам приносят «Голос», и вдруг в нем вы читаете весь эпизод об нашем стрелке и — и что же: сначала вы читаете с удивлением, с ужасным удивлением, даже так, что, пока читаете, вы ничему не верите; но чуть вы прочитали до последней точки, вы откладываете газету и вдруг, сами не зная почему, разом говорите себе: «Да, все это непременно так и должно было случиться». А иной так даже прибавит: «Я это предчувствовал». Почему такая разница в впечатлениях от романа и от газеты — не знаю, но такова уж привилегия действительности. (...)

(...) Кто это, Гейне что ли, рассказывал, как он, ребенком, плакал, обливаясь слезами, когда, читая Дон-Кихота, дошел до того места, как победил его презренный и здравомыслящий цирюльник Самсон Караско. Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если бы кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: «Вот мое заключение о жизни — можете ли вы за него осудить меня?» Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но... (...)

АПРЕЛЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

II. КУЛЬТУРНЫЕ ТИЦИКИ. ПОВРЕДИВШИЕСЯ ЛЮДИ

Г-н Авсеенко давно пишет критики, несколько лет уже, и я, каюсь в том, все еще возлагал на него некоторые надежды: «выпишется, думал я, и что-нибудь скажет»; но я мало знал его. Заблуждение мое продолжалось вплоть до октябряского номера «Русского вестника» 1874 года, в котором г-н Авсеенко в статье своей по поводу комедий и драм Писемского вдруг произнес следующее: «...Гоголь заставил наших писателей слишком небрежно относиться к внутреннему содержанию произведений и слишком полагаться на одну только художественность. Такой взгляд на задачу беллетристики разделялся весьма многими в нашей литературе сороковых годов, и в нем отчасти лежит причина: почему эта литература была бедна внутренним содержанием (!)».

Это литература-то сороковых годов была бедна внутренним содержанием! Такого странного известия я не ожидал во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя, его комедию: «Женитьба» (бедную внутренним содержанием, ух!), дала нам потом его «Мертвые души» (бедные внутренним содержанием — да хоть бы что другое сказал человек, ну, первое слово, которое на ум пришло, все бы лучше вышло). Затем вывела Тургенева с его «Записками охотника» (и эти бедны внутренним содержанием?), затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах Обломова и напечатавшего тогда же лучший из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия! Это та литература, которая дала нам, наконец, Островского — но именно про типы-то Островского и разражается г-н Авсеенко в этой же статье самыми презрительными плевками:

«Мир чиновников оказался, вследствие внешних причин, не вполне доступен для театральной сатиры; зато с тем большим усердием и пристрастием устремилась наша комедия в мир замоскворецкого и апраксинского купечества, в мир странниц и свах, пьяных приказных, бурмистров, причетников, питерщиков. Задача комедии сузилась непостижимым образом до копирования пьяного или безграмотного жаргона, воспроизведения диких ухваток, грубых и оскорбительных для человеческого чувства типов и характеров. На сцене безраздельно воцарился жанр, не тот теплый, веселый, буржуазный (?) жанр, который порою так пленителен на французской сцене (это водевильчик-то: один залез под стол, а другой вытащил его за ногу?), а жанр грубый, нечистоплотный и отталкивающий. Некоторые писатели, как, например,

г-и Островский, внесли в эту литературу много таланта, сердца и юмора, но в общем театр наш пришел к крайнему понижению внутреннего уровня, и весьма скоро оказалось, что ему *нечего сказать* образованной части общества, что он и дела не имеет с этой частью общества».

Итак, Островский понизил уровень сцены, Островский ничего не сказал «образованной» части общества! Стало быть, необразованное общество восхищалось Островским в театре и зачитывалось его произведениями? О да, образованное общество, видите ли, ездило тогда в Михайловский театр, где был тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». А Любим Торцов «груб, нечистоплотен». Про какое же это образованное общество говорит г-н Авсеенко, любопытно бы узнать? Грязь не в Любиме Торцове: «он душою чист», а грязь именно может быть там, где царствует этот «теплый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». И что за мысль, что художественность исключает *внутреннее содержание*? Напротив, дает его в высшей степени: Гоголь в своей «Переписке» слаб, хотя и характерен, Гоголь же в тех местах «Мертвых душ», где, переставая быть художником, начинает рассуждать прямо от себя, просто слаб и даже не характерен, а между тем его создания, его «Женитьба», его «Мертвые души» — самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справившись ли когда-нибудь? А г-н Авсеенко кричит, что в «Мертвых душах» нет внутреннего содержания! Но вот вам «Горе от ума», — ведь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению; чуть же Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума (устами Чацкого, самого слабого типа в комедии), то тотчас же понижается до весьма незавидного уровня, несравненно низшего даже у тогдашних представителей нашей интеллигенции. Нравоучения Чацкого несравненно ниже самой комедии и частью состоят из чистого вздора. Вся глубина, все содержание художественного произведения заключается, стало быть, только в типах и характерах. Да и всегда почти так бывает.

Таким образом, читатель видит, с каким критиком имеет дело, и уже отсюда слышу вопросы: да зачем же вы с ним

связываетесь? Повторяю еще раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г-ном Авсеенко занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип, мне полезный. Я очень долго не понимал г-на Авсеенко,— то есть не статей его, я статей его и всегда не понимал, да и нечего в них понимать или не понимать,— с этой же статьи в октябрьском № «Русского вестника» 1874 года я прямо уже махнул рукой, впрочем, постоянно и глубоко недоумевая: каким это образом статьи такого сбивчивого писателя появляются в таком серьезном журнале, как «Русский вестник»? Но вот вдруг случилось одно комическое происшествие — и я вдруг понял г-на Авсеенко: он вдруг начал печатать в начале зимы свой роман «Млечный путь». (И зачем этот роман перестал печататься!) Этот роман мне вдруг разъяснил весь тип писателя Авсеенко. Собственно про роман мне даже и не идет говорить: я сам романист, и мне не годится критиковать собрата. А потому я и не буду критиковать роман никаких, тем более что он доставил мне несколько искренно веселых минут. Там, например, молодой герой, князь, в ложе, всенародно хнычет, расчувствовавшись от музыки, а великосветская дама пристает к нему в умилении: «Вы плачете? Вы плачете?» Но не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял: г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо всем этом беспрерывно, благоговейно, молебно и молитвенно, одним словом, совершает как будто какое-то даже богослужение. Я слышал (не знаю, может быть, в насмешку), что этот роман предпринят с тем, чтобы поправить Льва Толстого, который слишком объективно отнесся к высшему свету в своей «Анне Карениной», тогда как надо было отнести молитвеннее, коленоисклоннее, и уж конечно, не стоило бы об этом обо всем говорить вовсе, если б, повторяю, не разъяснился совсем новый культурный тип. Оказывается ведь, что в каретах-то, в помаде-то и в особенности в том, как лакеи встречают барыню,— критик Авсеенко и видит всю задачу культуры, все достижение цели, все завершение двухсотлетнего периода нашего разверта и наших страданий, и видит совсем не смеясь, а любуясь этим. Серьезность и искренность этого любования составляет

одно из самых любопытных явлений. Главное в том, что г-н Авсеенко, как писатель, не один; и до него были «коленкоровых манишек беспощадные Ювеналы», но никогда в такой молитвенноной степени. Положим, что не все они таковы, но в том-то и беда моя, что я мало-помалу на конец убедился, что таких представителей культуры даже чрезвычайное множество в литературе и в жизни, хотя бы и не в таком строгом и чистом типе. Признаюсь, меня как бы светом озарило: после этого, конечно, понятны пасквильные слова на Островского и тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». Э, тут вовсе даже и не Островский, и не Гоголь, и не сороковые года (очень их надо!), тут просто Михайловский петербургский театр, посещаемый высшим обществом и к которому подъезжают в каретах,— вот это и все, вот это-то и увлекло, вот это-то и захватило писателя с беспощадною силой, и прельстило его, закружив и замотав его ум навеки. Повторяю опять, на это не надо смотреть с одной лишь комической точки, все это гораздо любопытнее. Тут, одним словом, многое происходит от особого рода мании, почти болезненной, так сказать, слабости, которую надо бы щадить. Карета высшего света едет, например, в театр: вы только посмотрите, как она едет и как свет от фонарей, врываясь в окошки кареты, веселит в ней сидящую даму: это уже не перо, это молитва, и этому надобно сострадать! Конечно, многие из них тщеславятся перед народом как бы чем-то и высшим перчаток; между ними много чрезвычайно даже либеральных людей, почти республиканцев, а между тем нет-нет и скажется вдруг перчаточник. Эта слабость, эта мания к красотам высшего света с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах, эта мания,— как ни невинна, но она породила, например, у нас, даже крепостников особого рода между такими личностями, которые и душ-то своих никогда не имели; но, раз признав кареты и Михайловский театр за завершение культурного периода Российской истории, они вдруг стали совсем крепостниками по убеждению, и хотя вовсе не мыслят ничего закрепостить вновь, но, по крайней мере, плюют на народ со всею откровенностью и с видом самого полного культурного права. Вот они-то и сыплют на него удивительнейшие обвинения: связанного двести лет сряду дразнят пассивностью, бедного, с которого драли оброк, обвиняют в нечистоплотности, не наученного ничему обвиняют в ненаучности, а битого палками — в грубости нравов, а подчас готовы обвинить даже за то, что он не напомажен и не причесан у парикмахера из Большой Морской. Это вовсе не преувели-

чение, это буквально так, и вот в том-то все и дело, что не преувеличение. У них отвращение от народа остервенелое, и если когда и похвалят народ,— ну, из политики, то наберут лишь громких фраз, для приличия, в которых сами не понимают ни слова, потому что сами себе через несколько строк и противоречат. Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною два с половиной года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком. Сколько я мог разглядеть в темноте, это был сухенький человечек, лет пятидесяти, с красным и как бы несколько распухшим носом, и, кажется, с больными ногами. Был он чрезвычайно порядочного типа — в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково. Он говорил про тяжелое и неопределенное положение дворянства, про удивительную дезорганизацию в хозяйстве по всей России, говорил почти без злобы, но с строгим взглядом на дело и ужасно заинтересовал меня. И что же вы думаете: вдруг, как-то к слову, совершенно не заметив того, он изрек, что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика и что это уж, конечно, бесспорно.

— То есть, вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека? — пояснил было я.

— Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой; я телом выше и лучше мужика, и это произошло от того, что в течение множества поколений мы перевоспитали себя в высший тип.

Спорить тут было нечего: этот слабый человечек, с золотушным красным носом и с больными ногами (в подагре, может быть, — дворянская болезнь), совершенно добросовестно считал себя физически, телом, выше и прекраснее мужика! Повторяю, в нем не было никакой злобы, но согласитесь, что этот беззлобный человек, даже и в беззлобии своем, может вдруг, при случае, сделать страшную несправедливость перед народом, совершенно невинно, спокойно и добросовестно, именно вследствие презрительного взгляда его на народ, — взгляда, почти бессознательного, почти от него не зависящего.

Тем не менее собственную оплошность мою мне поправить необходимо. Я написал тогда об идеалах народа и о том, что мы, «как блудные дети, возвратясь домой, должны преклоняться перед правдой народной и ждать от нее лишь одной мысли и образа. Но что, с другой стороны, и народ должен взять у нас нечто из того, что мы принесли с собой, что это нечто существует действительно, не мираж, имеет образ, форму и вес, и что, в противном случае, если не согласимся, то пусть

уже лучше разойдемся и погибнем врознь». Вот это-то всем, как вижу теперь, и показалось неясным. Во-первых, стали спрашивать: что за такие идеалы у народа, перед которыми надо преклоняться; а во-вторых: что я подразумеваю под тюю драгоценностью, которую мы принесли с собою и которую должен народ принять от нас *sine qua non*? И что не короче ли, наконец, не нам, а народу преклониться перед нами, единственно по тому одному, что мы Европа и культурные люди, а он лишь Россия и *пассивен*? Г-н Авсеенко положительно решает вопрос в этом смысле, но я уже не одному г-ну Авсеенко хочу теперь отвечать, а всем, не понявшим меня «культурным» людям, начиная с «коленкоровых манишек беспощадных Ювеналов» до недавних еще господ, провозгласивших, что у нас и *сохранять совсем нечего*. Итак, к делу; если б я не погнался тогда за краткостью и разъяснил подробнее, то, конечно, можно бы было не согласиться со мной, но зато не искажать меня и не обвинять в неясности.

III. СБИВЧИВОСТЬ И НЕТОЧНОСТЬ СПОРНЫХ ПУНКТОВ

Нам прямо объявляют, что у народа нет вовсе никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется верхним слоем культурных людей. Чтоб быть добросовестным вполне, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом высшем ее смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, очеловечились, огуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставил перед собой вопрос: «Точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И, наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу?» (...)

(...) Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умоляла в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, взломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали все из-за слез матери и для Христа бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, все это единичные

факты? А если и похвальные,— то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? Единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственною жизни из сострадания к горю матери — можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра. На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у вас из продолжающе-гося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь «кулаком и мироедом».

IV. БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ ШВЕЙЦАР, ОСВОБОЖДАЮЩИЙ РУССКОГО МУЖИКА

(...) Г-н Авсеенко потому и заключает прямо, что «зло, главное зло, общее зло для нас и для народа, заключалось не в культуре, а в слабости культурных начал», а потому надо было поскорее бежать в Европу, чтоб там докультуриться уж до того, чтобы уж не считать мужика за собаку и каналью.

Так у нас и делали: и сами в Европу ездили, и оттуда учителей к себе привозили. Перед революцией французской, во времена Руссо и переписки императрицы с Вольтером, была у нас мода на учителей швейцарцев

...И просвещение несущий всем швейцар*.

«Приезжай, бери деньги, только огумань и очеловечь»,— действительно была тогда такая мода. У Тургенева в «Дворян-

* Стих, кажется, графа Хвостова. Я помню даже четверостишие, в котором поэт перечисляет все народы Европы:

Турк, Перс, Прусс, Франк и мстительный Гишаинец,
Итальянцы и сыны наук Германец,
Меркантилизма сыны, стрегущий свой товар,
(то есть Англичанин)
И просвещение несущий всем Швейцар...

ском гнезде» великолепно выведен мельком один портрет тогдашнего оккультурившегося в Европе дворянчика, воротившегося к отцу в поместье. Он хвастал своею гуманностью и образованностью. Отец стал его укорять за то, что он сманил дворовую невинную девушку и обесчестил, а тот ему: «А что ж, я и женюсь». Помните эту картинку, как отец схватил палку, да за сыном, а тот в английском синем фраке, в сапогах с кисточками и в лосиных панталонах в обтяжку,— от него через сад, через гумно, да во все лопатки! И что же, хоть и убежал, а через несколько дней взял да и женился, во имя идей Руссо, носившихся тогда в воздухе, а пуще всего из блажи, из шатости понятий, воли и чувств и из раздраженного самолюбия: «Вот, дескать, посмотрите все, каков я есть!» Жену свою потом он не уважал, забросил, измучил в разлуке и тренировал ее с глубочайшим презрением, дожил до старости и умер в полном цинизме, злобным, мелким, дрянным старицкой, ругаясь в последнюю минуту и крича сестре: «Глашка, Глашка, дура, бульонцу, бульонцу!» Какая прелесть этот рассказ у Тургенева и какая правда! А между тем этот был уже значительно оккультурен; но г-н Авсеенко не про то говорит: он требует настоящей культуры, то есть нашего уже времени, вот той самой, которая наконец до того докультурила наших петербургских помещиков, что они рыдали, читая «Антона Горемыку», а потом взяли да и освободили крестьян с землей, и прежним собакам и канальям положили говорить теперь *бы*. Какой в самом деле прогресс! Рассмотрели, впрочем, потом, что эти, рывавшие над Антоном Горемыкой помещики до того, по ближайшем изучении их, оказались не понимающими ни народа, ни жизни его, ни народных начал, что почти принимали русских мужиков за каких-то французских поселен или за пастушков с фарфоровых чашек, а когда началась долгая и трудная работа правительства по освобождению крестьян, то некоторые из мнений сих высоких даже помещиков поразили почти анекдотическим неведением предмета, деревни, жизни народной и всего прочего, относящегося до народных начал. А между тем г-н Авсеенко именно утверждает, что европейская-то культура и способствовала постижению народных идеалов, а сами народные начала лишены всякого воспитательного значения. Надо полагать, что для постижения народных идеалов надо было ездить в Париж или, по крайней мере, в водевильчик в Михайловский театр, к которому подъезжают кареты. (...)

(...) Нет-с, освободили мы народ с землей не потому, что стали культурными европейцами, а потому, что сознали в себе

русских людей (...), точь-в-точь как мечтал сорок лет тому помешник Пушкин, проклявший в ту именно эпоху свое европейское воспитание и обратившийся к народным началам. (...)

ИЮНЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I. СМЕРТЬ ЖОРЖ ЗАНДА

Прошлый, майский № «Дневника» был уже набран и печатался, когда я прочел в газетах о смерти Жорж Занда (умерла 27 мая — 8 июня). Так и не успел сказать ни слова об этой смерти. А между тем, лишь прочтя о ней, понял, что значило в моей жизни это имя, — сколько взял этот поэт в свое время моих восторгов, поклонений и сколько дал мне когда-то радостей, счастья! Я смело ставлю каждое из этих слов, потому что все это было буквально. Это одна из наших (то есть *наших*) современниц вполне — идеалистка тридцатых и сороковых годов. Это одно из тех имен нашего могучего, самонадеянного и в то же время большого столетия, полного самых невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний, — имен, которые, возникнув там у себя, в «стране святых чудес», переманили от нас, из нашей вечно создающейся России, слишком много дум, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогих убеждений. Но не жаловаться нам надо на это: вознося такие имена и преклоняясь перед ними, русские служили и служат прямому своему назначению. Пусть не удивляются этим словам моим, и особенно в отношении к Жорж Занду, о которой до сих пор могут быть споры и которую, наполовину, если не на все девять десятых, у нас успели уже забыть; но свое дело она все-таки у нас сделала в свое время и — кому же собраться помянуть ее на ее могиле, как не нам, ее современникам со всего мира? У нас — русских — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству. Подумайте, и вы согласитесь, что славянофилы признавали то же самое, — вот почему и звали нас быть строже, тверже и ответственнее русскими, — именно понимая, что всечеловечность есть главнейшая лич-

ная черта и назначение русского. Впрочем, все это требует еще много разъяснения: уж одно то, что служение общечеловеческой идеи и легкомысленное шатание по Европе, добровольно и брюзгливо покинув отчество, суть две вещи обратно противоположные, а их до сих пор еще смешивают. Напротив, многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только, как рабы у господ и как непременно требуют того Потугины, а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь-в-точь как те, там — на Западе, для которых все это было свое родное. Европейцы этому ни за что не захотят поверить: они нас не знают, да и пока тем лучше. Тем неприметнее и спокойнее совершится необходимый процесс, который впоследствии удивит весь мир. Вот этот-то процесс всего яснее и осязательнее можно выследить отчасти и на отношении нашем к литературам других народов. Ихние поэты нам, по крайней мере большинству развитых людей наших, точно так же родные, как и им, там у себя — на Западе. Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира, наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс — роднее и понятнее русским, чем, например, немцам, хотя, конечно, у нас и десятой доли не расходится экземпляров этих писателей в переводах, чем в многокнижной Германии. Французский конвент 93 года, посыпая патент на право гражданства *au poète allemand Schiller, l'ami de l'humanité**, хоть и сделал тем прекрасный, величавый и пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской России, этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время — во Франции, но даже и потом, во все наше столетие, в котором Шиллера, гражданина французского и *l'ami de l'humanité*, знали во Франции лишь профессора словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. А у нас он, вместе с Жуковским, в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил, почти период в истории нашего развития обозначил. Это русское отношение к всемирной литературе есть явление, почти не повторявшееся в других народах в такой степени, во всю всемирную историю, и если это свойство есть действительно наша национальная русская особенность — то какой обидчивый патриотизм, какой шовинизм был бы вправе сказать что-либо против этого явления

* Немецкому поэту Шиллеру, другу человечества (франц.).

и не захотеть, напротив, заметить в нем прежде всего самого широко обещающего и самого пророческого факта в гаданиях о нашем будущем. О, конечно, многие улыбнутся, может быть, прочтя выше о том значении, которое я придаю Жорж Занду; но смеющиеся будут неправы: теперь прошло очень уже довольно времени всем этим минувшим делам, да и сама Жорж Занд умерла старушкой, семидесяти лет, и, может быть, давно уже пережив свою славу. Но все то, что в явлении этого поэта составляло «новое слово», все, что было «всечеловеческого», — все это тотчас же в свое время отзывалось у нас, в нашей России, сильным и глубоким впечатлением, не миновало нас и тем доказало, что всякий поэт — новатор Европы, всякий, прошедший там с новою мыслью и с новою силой, не может не стать тотчас же и русским поэтом, не может миновать русской мысли, не стать почти русскою силой. А впрочем, я вовсе не статью критическую хочу писать о Жорж Занде, а всего только хотел было сказать отшедшей покойнице несколько на путевых слов на ее свежей могиле.

II. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖОРЖ ЗАНДЕ

Появление Жорж Занда в литературе совпадает с годами моей первой юности, и я очень рад теперь, что это так уже давно было, потому что теперь, с слишком тридцать лет спустя, можно говорить почти вполне откровенно. Надо заметить, что тогда только это и было позволено, — то есть романы, остальное все, чуть не всякая мысль, особенно из Франции, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотреть не умели, да и откуда бы могли научиться: и Меттерних не умел смотреть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали «ужасные вещи» (например, проскочил весь Белинский). Но зато, как бы взамен тому, под конец особенно, чтоб не ошибиться, стали запрещать почти что сплошь, так что кончалось, как известно, транспарантами. Но романы все-таки дозволялись, и с начала, и в середине, и, даже в самом конце, и вот тут-то, именно на Жорж Занде, оберегатели дали тогда большого маха. Помните вы стихи:

Томы Тьера и Рабо
Он на память знает,—
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

Стихи эти чрезвычайно талантливые, даже до редкости, и останутся навсегда, потому что они исторические; но тем и драгоценнее, ибо они написаны Денисом Давыдовым, поэтом, литератором и честнейшим русским. Но уж коли Денис Давыдов, и кого же — Тьера (за историю революции, разумеется) счел тогда опасным и поместил в стих вместе с каким-то Рабо (был же, стало быть, и такой, я, впрочем, не знаю), то, уж разумеется, слишком мало могло быть тогда официально дозволено. И что же вышло: то, что вторгнулось к нам тогда, в форме романов, не только послужило точно так же делу, но, может быть, было, напротив, еще самой «опасной» формой, по тогдашнему времени, потому что на Рабо-то, может быть, и не нашлось бы тогда столько охотников, а на Жорж Занда нашлось их тысячами. Здесь надо заметить и то, что у нас, несмотря ни на каких Магницких и Липранди, еще с прошлого столетия, всегда тотчас же становилось известным о всяком интеллектуальном движении в Европе, и тотчас же из высших слоев нашей интеллекции передавалось и массе хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящих людей. Точь-в-точь то же произошло и с европейским движением тридцатых годов. Об этом огромном движении европейских литератур, с самого начала тридцатых годов, у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих новых явившихся ораторов, историков, трибунов, профессоров. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть, известно стало и то, куда клонит все это движение. И вот особенно страстно это движение проявилось в искусстве — в романе, а главнейше — у Жорж Занда. Правда, о Жорж Занде Сенковский и Булгарин предостерегали публику еще до появления ее романов на русском языке. Особенно пугали русских дам тем, что она ходит в панталонах, хотели испугать разрывом, сделать ее смешной. Сенковский, сам же и собиравшийся переводить Жорж Занда в своем журнале «Библиотека для чтения», начал называть ее печатно г-жой Егором Зандом и, кажется, серьезно остался доволен своим остроумием. Впоследствии, в 48-м году, Булгарин печатал об ней в «Северной пчеле», что она ежедневно пьянаствует с Пьером Леру у заставы и участвует в афинских вечерах, в министерстве внутренних дел, у разбойника и министра внутренних дел Ледрю-Роллена. Я это сам читал и очень хорошо помню. Но тогда, в 48 году, Жорж Занд была у нас уже известна почти всей читающей публике, и Булгарину никто не поверил. Появилась же она на русском языке впервые примерно в половине тридцатых годов; жаль, что не помню и не знаю — когда и какое первое произведение ее было у нас переведено; но тем удиви-

тельнее должно было быть впечатление. Я думаю, так же как и меня, еще юношу, всех поразила тогда эта целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелест строгого, сдержанного тона рассказа,— и вот эта кая-то женщина ходит в панталонах и развратничает! Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть «Ускок» — одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я помню, я был потом в лихорадке всю ночь. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с нею, уступал ей, может быть, в внимании нашей публики. Я не говорю уже о Бальзаке, явившемся прежде нее и давнем, однако, в тридцатых годах такие произведения, как «Ежени Гранде» и «Старик Горио» (и к которому так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение во французской литературе). Впрочем, я говорю все это не с точки зрения какой-нибудь критической оценки, а просто-запросто припоминаю о вкусе тогдашней массы русских читателей, о непосредственном произведенном на них впечатлении. Главное то, что читатель сумел извлечь даже из романов все то, от чего его так тогда оберегали. По крайней мере, в половине сороковых годов у нас, даже массе читателей, было хоть отчасти известно, что Жорж Занд — одна из самых ярких, строгих и правильных представительниц того разряда тогдашних и западных новых людей, явившихся и начавших прямым отрицанием тех «положительных» приобретений, которыми закончила свою деятельность кровавая французская (а вернее европейская) революция конца прошлого столетия. По окончании ее (после Наполеона I-го) явились новые попытки выразить новые желания и новые идеалы. Передовые умы слишком поняли, что лишь обновился деспотизм, что лишь произошло: «*Ote toi de là que je t'y mette*»*, что новые победители мира (буржуа) оказались еще, может быть, хуже прежних деспотов (дворян) и что «свобода, равенство и братство» оказались лишь громкими фразами, и не более. Мало того, явились такие учения, по которым, из громких фраз, они уже оказались и невозможными фразами. Победители произносили или, лучше, припоминали эти три сакральные слова уже насмешливо; даже наука (экономисты) явилась, в блестящих представителях

* «Убирайся прочь, а я займу твое место» (франц.).

своих, пришедших тогда тоже как бы с новым словом,— на подмогу насмешке и на осуждение утопического значения этих трех слов, для которых было пролито столько крови. Таким образом, рядом с восторжествовавшими победителями начали появляться унылые и грустные лица, пугавшие торжествующих. И вот в эту-то эпоху вдруг возникло действитель но новое слово и раздались новые надежды: явились люди, прямо возгласившие, что дело остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителей, что дело надобно продолжать, что обновление человечества должно быть радикальное, социальное. О, конечно, явились рядом с этими возгласами и множество самых пагубных и самых уродливых заключений, но главное было в том, что засветилась опять надежда и опять начала возрождаться вера. История этого движения известна,— оно продолжается до сих пор и, кажется, вовсе не намерено останавливаться. Я вовсе не намерен говорить здесь ни за, ни против него, но я лишь желал обозначить настояще место Жорж Занда в этом движении. Ее место надо искать в самом начале его. Тогда, встречая ее в Европе, говорили, что она проповедует новое положение женщины и пророчествует о «правах свободной жены» (выражение про нее Сенковского); но это не совсем было верно, ибо она проповедовала вовсе не об одной только женщине и не изобретала никакой «свободной жены». Жорж Занд принадлежала всему движению, а не одной лишь проповеди о правах женщины. Правда, как женщина сама, она, естественно, более любила выставлять *героинь*, чем *героев*, и, уж конечно, женщины всего мира должны теперь надеть по ней траур, потому что умерла одна из самых высших и прекрасных их представительниц и, кроме того, женщина, почти небывалая по силе ума и таланта,— имя, ставшее историческим, имя, которому не суждено забыться и исчезнуть среди европейского человечества.

Что же до героинь ее, то, повторяю опять, я был с самого первого раза, еще шестнадцати лет, удивлен странностью противоречия того, что об ней писали и говорили, с тем, что увидал я сам на самом деле. На самом деле многие, некоторые по крайней мере, из героинь ее представляли собою тип такой высокой нравственной чистоты, какой невозможно было и представить себе без огромного нравственного запроса в самой душе поэта, без исповедания самого полного долга, без понимания и признания самой высшей красоты в милосердии, терпении и справедливости. Правда, среди милосердия, терпения и признания обязанностей долга являлась и чрезвычайная гордость

запроса и протesta, но гордость-то эта и была драгоценна, потому что исходила из той высшей правды, без которой никогда не могло бы устоять, на всей своей нравственной высоте, человечество. Эта гордость не есть вражда *quand t'ême**, основанная на том, что я, дескать, тебя лучше, а ты меня хуже, а лишь чувство самой целомудренной невозможности примирения с неправдой и пороком, хотя, опять-таки повторяю, чувство это не исключает ни всепрощения, ни милосердия; мало того, соразмерно этой гордости добровольно налагался на себя и огромнейший долг. Эти героини ее жаждали жертв, подвига. Особенно нравилось мне тогда, в первоначальных произведениях ее, несколько типов девушек, выведенных, например, в так называвшихся тогда венецианских повестях ее (к которым принадлежат и «Ускок», и «Альдини»), типов, закончившихся потом романом «Жанна», произведением уже гениальным, представляющим собою светлое и, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса о Жанне д'Арк. В современной крестьянской девушке она вдруг воскрешает перед нами образ исторической Жанны д'Арк и наглядно оправдывает действительную возможность этого величавого и чудесного исторического явления,— задача вполне жорж-зандовская, ибо никто, может быть, кроме нее, из современных ей поэтов не носил в душе своей столь чистый идеал невинной девушки — чистый и столь могущественный своею невинностью. Все эти типы девушек, о которых я сказал выше, повторяют собою в нескольких произведениях сряду одну задачу, одну тему (впрочем, не одни девушки: эта же тема повторена потом в великолепной повести ее «La Marquise», тоже из первоначальных). Изображается прямой, честный, но неопытный характер юного женского существа, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком, даже если б вдруг существо это очутилось случайно в самом вертепе порока. Потребность великодушной жертвы (будто бы от нее именно ожидаемой) поражает сердце юной девушки, и, несолько не задумываясь и не щадя себя, она бескорыстно, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает самый опасный и роковой шаг. То, что она видит и встречает, не смущает и не страшит ее потом нимало,— напротив, тотчас же возвышает мужество в юном сердце, тут только впервые познающем все свои силы,— силы невинности, честности, чистоты,— удвоивает ее энергию и указывает новые пути и новые горизонты еще не знавшему

* также (франц.).

до того себя, но бодруму и свежему уму, не загрязненному еще жизненными уступками. При этом самая безкоризненная и прелестная форма поэмы: Жорж Занд особенно любила тогда кончать свои поэмы *счастливо*, торжеством невинности, искренности и юного, бесстрашного простодушия. Такие ли образы могли возмутить общество, возбудить сомнения и страхи? Напротив, самые строгие отцы и матери стали позволять в своих семействах чтение Жорж Занда и только удивлялись: «что же это так все об ней говорили?» Но тут-то и раздались предостерегающие голоса, что «вот в этой-то гордости женского запроса, в этой-то непримириимости целомудрия с пороком, в этом-то отказе от всяких уступок пороку, в этом-то бесстрашии, с которым невинность воздвигается на борьбу и смотрит ясно в глаза обиде, и заключается яд, будущий яд женского протesta, женской эмансипации». Что же! может быть — про яд говорили несправедливо; действительно зарождался яд, но что он шел истребить, что от этого яда должно было погибнуть и что спастись, — вот что тотчас же составило вопрос и долго не разрешалось.

Теперь давно уже эти вопросы разрешены (кажется, так). Надо, кстати, заметить, что в половине сороковых годов слава Жорж Занда и вера в силу ее гения стояли так высоко, что мы, современники ее, все ждали от нее чего-то несравненно большего в будущем, неслыханного еще нового слова, даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательного. Надежды эти не осуществились: оказалось, что в то же время, то есть к концу сороковых годов, она уже сказала все, что ей суждено и предназначено было высказать, а теперь над свежей могилой ее о ней уже вполне можно сказать последнее слово.

Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувствающих (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца обыкновенно составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев. Жорж Занд умерла действкой, твердо веря в бога и бессмертную жизнь свою, но об ней мало сказать этого: она сверх того была, может быть, и всех более христианкой из всех своих сверстников — французских писателей, хотя формально (как католичка) и не исповедовала

Христа. Конечно, как француженка, сообразно с понятиями своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что «во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастися», — главной идеи православия; но, несмотря на кажущееся и формальное противоречие, повторю это, Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечества, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (да же до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою — в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее времена, в такой силе понимавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек». Что же до гордости ее запросов и протеста, то, повторю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику; напротив, Жорж Занд в произведениях своих не раз прельщалась красотою этих истин и не раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви. Пишут об ней, что она умерла прекрасной матерью, трудясь до конца своей жизни, другом окрестных крестьян, любимая безгранично друзьями своими. Кажется, она наклонна была отчасти ценить аристократизм своего происхождения (она происходила по матери из королевского Саксонского дома), но, уж конечно, можно твердо сказать, что если она и ценила аристократизм в людях, то основывала его лишь на совершенстве души человеческой: она не могла не любить великого, примиряться с низким, уступить идею — и вот в этом-то смысле была, может быть, и с излишком горда. Правда, не любила она тоже выводить в романах своих приниженных лиц, справедливых, но уступающих, кородливых и забытых, как почти есть во всяком романе у великого христианина Диккенса; напротив, воздвигала своих героинь гордо, ставила прямо цариц. Это она любила и эту особенность надо заметить; она довольно характерна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. МОЙ ПАРАДОКС

«...» именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой... И что же: вышло так, что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русский дух, чему, конечно, если б им в свое время разъяснили это,— или рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста, напротив, все время, все два века отрицали свою высоту, и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе (были ведь и такие любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом.

Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал с славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противуположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор,— и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон, и прежде всего та, что все эти тогдашние западники Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно и — отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мундирем было совсем другое существо. «...» Почему это всё у нас? Почему такая нерешиимость и несогласие на всякое решение, на какое бы ни было даже решение (и заметьте: ведь это правда?) По-моему, вовсе не от бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося нашего незнания России, ее сути и особи, ее смысла и духа, несмотря на то, что, сравнительно, со временем Белинского и славянофилов у нас уже прошло теперь два дцать лет школы. И даже вот что: в эти двадцать лет школы

изучение России фактически даже очень продвинулось, а чутье русское, кажется, уменьшилось сравнительно с прежним. Что за причина? Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то наверно бы примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль.

ИЮЛЬ И АВГУСТ

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. ИДЕАЛИСТЫ-ЦИННИКИ

(...) Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто бузупречное и прекрасное. Идеалист сороковых годов в высшем смысле и, бесспорно, он имел свой собственный, особенный и чрезвычайно оригинальный оттенок в ряду тогдашних передовых людей наших, известного закала. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе «Бесы» и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его) — и, может быть, без малейшей комической черты, довольно свойственной этому типу. (...)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I. РУССКИЙ ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК?

(...) для меня вовсе не то удивительно, что русские между собою говорят не по-русски (и даже было бы странно, если б они говорили по-русски), а то удивительно, что они воображают, что хорошо говорят по-французски. Кто вбил нам в голову этот глупый предрассудок? Безо всякого сомнения, он держится лишь нашим невежеством. Русские, говорящие по-французски (то есть огромная масса интеллигентных русских), разделяются на два общие разряда: на тех, которые уже бесспорно плохо говорят по-французски, и на тех, которые воображают про себя, что говорят как настоящие парижане (все наше

высшее общество), а между тем говорят так же бесспорно плохо, как и первый разряд. <...>

<...> Тут самодовольство всем этим лакейством отвратительно. Как хотите, хоть все это и старо, но это все продолжает быть удивительным, именно потому, что живые люди, в цвете здоровья и сил, решаются говорить языком тощим, чахлым, болезненным. Разумеется, они сами не понимают всей дрянности и нищеты этого языка (то есть не французского, а того, на котором они говорят) и, по неразвитости, короткости и скудости своих мыслей, ужасно пока довольны тем материалом, который предпочли для выражения этих коротеньких своих мыслей. Они не в силах рассудить, что выродиться совершенно во французов им все-таки нельзя, если они родились и выросли в России, несмотря на то, что самые первые слова свои лепечут уже по-французски от бонн, а потом практикуются от гувернеров и в обществе; и что потому язык этот выходит у них непременно мертвый, а не живой, языки не натуральный, а сделанный, язык фантастический и сумасшедший, — именно потому, что так упорно принимается за настоящий, одним словом, язык совсем не французский, потому что русские, как и никто, никогда не в силах усвоить себе всех основных родовых стихий живого французского языка, если только не родились совсем французами, а усваивают лишь прежде данный чужой жаргон, и много что парикмахерское нахальство фразы, а затем, пожалуй, и мысли. Язык этот как бы краденый, а потому ни один из русских парижан не в силах породить во всю жизнь свою на этом краденом языке ни одного своего собственного выражения, ни одного нового оригинального слова, которое бы могло быть подхвачено и пойти в ход на улицу, что в состоянии, однако, сделать каждый парикмахерский гарсон. Тургенев рассказывает в одном своем романе анекдот, как один из таких русских, войдя в Париже в *Café de Paris*, крикнул «*gagçon, beftek aux pommes de terre*»*, а другой русский, уже успевший перенять, как заказывают бифштекс по-новому, пришел и крикнул: «*gagçon, beftek-pommes*». Русский, крикнувший по-старому «*aux pommes de terre*», был в отчаянии, как это он не знал и пропустил это новое выражение — «*beftek-pommes*» — и в страхе, что теперь, пожалуй, гарсоны могут посмотреть на него с презрением. Рассказ этот, очевидно, взят автором с истинного происшествия. Ползая рабски перед формами языка и перед мнением гарсонов, русские парижане естественно также рабы и перед французскою мыслью. Таким образом

* официант, бифштекс с картофелем! (Франц.)

сами осуждают свои бедные головы на печальный жребий не иметь во всю жизнь ни одной своей мысли.

Да, рассуждения о вреде усвоения чужого языка, вместо своего родного, с самого первого детства — бесспорно смешная и старомодная тема, наивная до неприличия, но, мне кажется, вовсе еще не до того износившаяся, чтоб нельзя было попытаться сказать на эту тему и свое словцо. Да и нет такой старой темы, на которую нельзя бы было сказать что-нибудь новое. Я, конечно, не претендую на *новое* (где мне!), но рискну хоть для очистки совести: все-таки скажу. Мне бы ужасно тоже хотелось как-нибудь изложить мои аргументы попопулярнее, в надежде, что какая-нибудь маменька высшего света прочтет меня.

II. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ ОТЦУ ОТЕЧЕСТВА?

Я спросил бы маменьку так: знает ли она, что такое язык, и как она представляет себе, для чего дано слово? Язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли (не объясняя уже, что такое мысль), так сказать, последнее и заключительное слово органического развития. Отсюда ясно, что чем богаче тот материал, те формы для мысли, которые я усваиваю себе для их выражения, тем буду я счастливее в жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее себе и другим, владычнее и победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу это и тем глубже сам пойму то, что хотел сказать, тем буду крепче и спокойнее духом — и, уж конечно, тем буду умнее. Опять-таки: знает ли маменька, что человек хоть и может мыслить с быстротою электричества, но никогда не мыслит с такою быстротою, а все-таки несравненно медленнее, хотя и несравненно скорее, чем, например, говорит? Отчего это? Оттого, что он все-таки мыслит непременно на каком-нибудь языке. И действительно, мы можем не примечать, что мы мыслим на каком-нибудь языке, но это так, и если не мыслим словами, то есть произнося слова хотя бы мысленно, то, всё же, так сказать, мыслим «стихийной основной силой того языка», на котором предпочли мыслить, если возможно так выразиться. Понятно, что чем гибче, чем богаче, чем многоразличнее мы усвоим себе тот язык, на котором предпочли мыслить, тем легче, тем многоразличнее и тем богаче выразим на нем нашу мысль. <...>

<...> На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка недостанет, именно потому, что он нам

все-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся. Но вот тут-то и запятая: русские, по крайней мере высших классов русские, в большинстве своем, давным-давно уж не рождаются с живым языком, а только впоследствии приобретают какой-то искусственный и русский язык узнают почти что в школе, по грамматике. О, разумеется, при большом желании и прилежании, можно наконец перевоспитать себя, научиться даже до некоторой степени и живому русскому языку, родившись с мертвым.

Я знал одного русского писателя, составившего себе имя, который не только русскому языку выучился, не зная его вовсе, но даже и мужику русскому обучился — и писал потом романы из крестьянского быта. Этот комический случай повторялся у нас нередко, а иногда так даже в весьма серьезных размерах: великий Пушкин, по собственному своему признанию, тоже принужден был перевоспитать себя и обучался и языку, и духу народному, между прочим, у няни своей Арины Родионовны. Выражение «обучиться языку» особенно идет к нам, русским, потому что мы, высший класс, уже достаточно оторваны от народа, то есть от живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая, глубокая мысль!). Но скажут: уж если пришлось «обучаться» живому языку, то ведь все равно, что русскому, что французскому, — но в том-то и дело, что русский язык русскому все-таки легче, несмотря ни на боян, ни на обстановку, и этою легкостью непременно, пока время есть, надо воспользоваться. Чтобы усвоить себе этот русский язык натуральнее, без особой надсадки и не по одной только науке (под наукой я, конечно, не одну школьную грамматику здесь разумею), надо непременно еще с детства перенимать его от русских нянь, по примеру Арины Родионовны, не боясь того, что она сообщит ребенку разные предрассудки — о трех китах, например (господи! ну, как киты-то у него на всю жизнь останутся!); сверх того, не бояться простонародья и даже слуг, от которых так предостерегают родителей иные деятели. Затем уже в школе непременно заучивать наизусть памятники нашего слова, с наших древних времен — из летописей, из былин и даже с церковнославянского языка, — и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть. Усвоив себе таким образом родной язык, то есть язык, на котором мы мыслим, по возможности, то есть хоть настолько хорошо, чтоб хоть походило на что-нибудь живое, и приучив себя непременно на этом языке мыслить, мы тем самым извлечем тогда пользу из нашей оригинальной русской способности европейского языкоznания

и многоязычия. В самом деле, только лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде. Из иностранного языка мы невидимо возьмем тогда несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с формами нашей мысли — и тем расширим ее. Существует один знаменательный факт: мы, на нашем еще неустроенном и молодом языке, можем передавать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем на европейские языки, преимущественно на французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художественных литературных наших произведений до сих пор совершенно непереводимо и неперевдаемо. Я не могу без смеха вспомнить один перевод (теперь очень редкий) Гоголя на французский язык, сделанный в середине 40-х годов, в Петербурге, г-м Биардо, мужем известной певицы, в сообществе с одним русским, теперь по праву знаменитым, но тогда еще лишь начинавшим молодым писателем. Вышла просто какая-то галиматья вместо Гоголя. Пушкин тоже во многом непереводим. Я думаю, если бы перевесть такую вещь, как сказание протопопа Аввакума, то вышла бы тоже галиматья, или, лучше сказать, ровно ничего бы не вышло. Почему это так? Ведь страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так многоразличен и более замкнуто-своебразен, чем наш, несмотря даже на то, что уж несомненно законченнее и отчетливее выразился, чем наш. Но если это страшно сказать, то, по крайней мере, нельзя не признать, с надеждой и с веселием духа, что нашего-то языка дух — бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных еще формах своих, а уже мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, что переданы они точно и верно. <...>

ОКТЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ III. ДВА САМОУБИЙСТВА

Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом.

Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, то есть этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков. (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная.)

— А знаете ли вы,— вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей,— знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении,— никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону,— ничуть! Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы еще и не предлагали и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть, и раньше,— и факт этот не раз поражал меня иставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни,— и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чей глаз и кто в силах!* Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления в жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озабочат, что (случается даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться,— он прибегает к другого рода упрощению и, *просто-запросто* сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое. <...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

I. НОВЫЙ ФАЗИС ВОСТОЧНОГО ВОПРОСА

(...) Одной материальной выгодой, одним «хлебом» — такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться. И это не идеал и не фразы: ответ на то — весь русский народ (...) сильный, честный и чистый сердцем, как один из высоких идеалов его — богатырь Илья-Муромец, чтимый им за святого. (...)

НОЯБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КРОТКАЯ

Фантастический рассказ
От автора

(...) Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.

Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, *уясняет* себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противуречит себе, и в логике, и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно *уясняет* себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*; правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.

Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается не-

сколько часов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько щершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой же прием, и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения — самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.

ДЕКАБРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ II. ЗАПОЗДАВШЕЕ ИРАВОУЧЕНИЕ

(...) Справедливое замечание, сделанное одним писателем еще несколько лет тому назад, что признаваться в непонимании некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовало о тупости признающегося, о невежестве его, о скучном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Теперь же, наоборот, весьма часто фраза «Я не понимаю этого» выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере с важностью. Человек тотчас же как бы становится этой фразой на пьедестал в глазах слушателей и, что еще комичнее, в своих собственных, нимало не стыдясь при этом дешевизны приобретенного пьедестала. Ныне слова «Я ничего не понимаю в Рафаэле» или «Я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного» — слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но даже за что-то доблестное,

почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один, Рафаэль ли один подвержены теперь такому суду и сомнению?

Это замечание о гордых невеждах, которое я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые никак не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и «духу придает». Замечал я тоже нередко, что в литературе и в частной жизни наступали великие обособления и исчезала многосторонность знания: люди, до пены у рта оспаривавшие своих противников, по десятку лет не читали иногда ни строчки из написанного их противниками: «Я, дескать, не тех убеждений и не стану читать глупостей». Подлинно, на грот амуниции, а на рубль амбиций. Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь в наше время, то есть в последние двадцать лет преимущественно. Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость: люди познаний ничтожных смеялись и даже в глаза людям, в десять раз их более знающим и понимающим. Но куже всего, что чем дальше, тем больше воцаряется «прямолинейность»: стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Заметно перестали (вообще говоря) понимать шутку, юмор, а уж это, по замечанию одного германского мыслителя,— один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились,— и всё прямо и прямо, всё в прямой линии и в одну точку.

IV. КОЕ-ЧТО О МОЛОДЕЖИ

(...) А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодежь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. (...)

(...) Пусть даже это «искание своего идеала» слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою,— это-то уже ясно. Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Уж конечно, и сами они, но ведь и не одни они. О, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей; но в том-то

и дело, что наступили, значит, такие сроки, что оторванность от почвы и от народной правды в нашем юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих «отцов» их, столь давно уже от всего русского оторвавшихся и доживающих свой век в блаженном спокойствии высших критиков земли русской. <...>